

Геннадий Шеваров

Война есть война

Голоса

Встречи и разлуки. Города, номера телефонов.

Ничто, ничто не вечно под луной.

Но чем дольше живешь и тянешь журналистскую лямку, тем с большей неохотой расстаешься со старыми записными книжками, фотографиями, магнитными пленками.

Торопливые заметки, бесценные кадры.

Как расстаться. Ведь в коробках этих пылятся лица, адреса и голоса героев твоих репортажей, радиоочерков и фильмов. Там, в глуши времени, остаются невостребованными истории, приключения, исповеди и случаи из жизни этих исчезающих в тумане лет, но успевших открыться, довериться тебе людей.

Может быть, именно они — последние из могокан.

Дальше — тишина. Дальше — Интернет.

Как у наших у ворот

Ольга Андреевна Горбунова (поселок Висим)

Я работала на «Красном Урале», на старании, на шахте. Там как было: нету откатчиков — давай пошлем Горбунову, айда, Горбунова, беги. Забои-то низкие. Катишь и спину шоркаешь. Спину царапает — низко, тяжело катить-то, а катишь — надо поднимать детей-то.

Потом — ой, батюшки! — у меня ребят возьмут. Гляжу вечером: до моего сына приехали — давай, Александр Палыч, готовься скорей. Я им: он же не кушал ничего, дайте накормлю. «Некогда, некогда, на то есть дело...» Ну я заревела, конечно.

На машине за ним приехали, посадили, потом я села, поехали в Тагил. А сын кушать ведь хочет. «Накормят там его». Я заревела: да что за война! А сын говорит: это же я написал заявление, чтобы меня взяли безо всякого добровольцем. Так я проводила.

Значит, война идет, идет. Жив — нет, жив — нет. А в марте, 16-го, получаю похоронную: «Ваш сын погиб на Калининском фронте».

Через полтора года — второй поспел. Этого провожаю.

А в сорок пятом уже говорят: иди, тебя в поселковый вызывают. Я пришла — мне вручают: вот тебе на второго сына похоронная. Я пала с этой бумажкой на пол: «Я как теперь жить-то буду? Мне тяжело жить будет...»

Детей нету, нет и нет, нет и нет, и не стало больше. Всё. Всё плакала сперва, а сейчас уж ничего. Война на то была. Надо защищать Родину-то.

Вот так и живу помаленечку. Много живу. Много работы переробила всякой. На железной дороге бригадиром работала. А никто ничего не делал. Я их стала увещевать: давайте, девочки, ведь это все наше, давайте, девочки, робить.

(Запела)

Как у наших у ворот,
Ай, лю-ли у ворот,
Стоит озеро воды,
Ай, лю-ли да воды...

Восьмое марта

Фелицата Васильевна Шарунова (Нижний Тагил)

Без чего не может страна обойтись? Без металла. Как раз было обращение к женщинам: овладевать мужскими профессиями. А чего бояться? — я подумала. Прикинула и решила, что выдержу. И пошла работать в доменный цех.

Война началась — я из подручных стала старшим горновым. Нам поручили задание боевое: освоить чугуны в наших домнах для танковой брони. И мы его освоили.

Восьмого марта это как раз случилось. Пробило лётку, на меня брызнуло. Кипящий металл, огненный.

Мне надо бы убежать, а я кричу: «Давай сигнал!» Это означает: дутьё сбавьте. И еще хочу задержать. А как брызнет, и все на мне вспыхнуло. Я кричу: подводите машину — перекрыть лётку. А сама побежала в бассейн тушиться, там грязная вода отстывала.

Ко мне с паровоза составитель бежит, кричит: «Фаина, Фаина...» — и брезент раскрыл, хочет закрыть меня. А я думаю, он еще далеко — я же горю вся — рукой махнула, и сама в воду. И сколько я могла в этот момент передумать! Подумала, что буду есть, чтобы скорей поправиться, не буду стонать.

Тут ребята подбежали вытаскивать меня, и я спрашиваю: как там домна? Вижу, зарева-то уже нету, значит, перехватили.

В красный уголок меня повели, я снимаю все, а сама думаю: здесь первой степени ожог, здесь третьей. Ничего, жить буду.

А карточки хлебные тут же подруге отдала.

Повезли меня в здравпункт.

Все были в клубе, там проходило собрание торжественное, а я обожглась.

В здравпункте сидит женщина — у нее палец оборванный. Я говорю: как это вы неосторожно, ведь вам больно. Она: а вам не больно? Я говорю: я терплю. А сестра дежурила молоденькая — первые дни работает — не знает, с чего начать. Я говорю ей: сначала забинтуйте женщине руку, потом мной займетесь.

«Ну как это, такая площадь обожжена!» Я говорю: у вас таз есть? марганец есть?.. Разводите.

А тут из клуба Вера Ефимовна Шкляр приехала, хирург. И секретарь партийный. Обсуждают, куда меня положить, в какую больницу. Я прошусь: вы меня поближе к заводу.

После больницы сказала: инвалидность мне не надо, и не взяла ее. Рвалась на завод.

СКВОЗЬ СОН

Алексей Яковлевич и Тамара Александровна Шальных (Екатеринбург)

Сидят рядом, перебирают фронтовые письма Алексея Яковлевича.

— Я думал, не моей рукой... сомневался. Оказывается, моей рукой написаны.

— Свой почерк не узнал! Мне кажется, он нисколько не изменился у тебя. Не одной мне, что ли, писал? Сомневался он!.. (Тамара Александровна смеется, читает дальше.)

«Томочка, моя милая и любимая девушка, здравствуй. Сейчас я снова прибыл в свою часть и узнал, что тебе сообщили о моей гибели. Я был увезен с поля боя без памяти, и это длилось трое суток. А затем лишь только я узнал, что я неспособен к речи и глух. И вот в ночь на восемнадцатые сутки я впервые сквозь сон что-то непонятное проговорил, и ко мне подскочили сестры, и я проснулся и, не выдержав, заплакал, ибо мой разговор был не похож на разговор, а больше походил на детское несурзное лепетание...»

«Дорогая подруга моя Тамара. Только что пришел на батарею... Шли упорные бои. Оказался раненным один из моих офицеров. Не в состоянии двигаться, он попал в руки немцев. Они его сильно мучили, топтали, кололи ножом и штыками, затем облили бензином и подожгли. На следующий день нам все это удалось установить, и весь личный состав поклялся отомстить. Он был москвич, с 22-го года рождения, и у него была любимая, которая ему часто писала письма. Обижалась на него, что он забыл, нашел другую и тому подобное... мол, выйду замуж за какого-то... который живет рядом с ней. Мы написали ей ответ, что можете на своего друга не обижаться, рассказали, как он погиб. А она написала нам, что она дальше не может жить и отравится...»

«Завтра убываю на передовую, пока живу хорошо. Больше писать нет времени. Как будешь читать, так вспомни меня. Ни минуты не забывающий тебя твой друг...»

Тамара Александровна: «А сейчас жизнь, по-моему, такая напряженная, такие нагрузки. Я вот вспоминаю все, что как до войны хорошо жили: весело, никто не ссорился, ни драк тогда не было, ни пьянки никакой. Очень хорошо жили. А после войны вот жизнь изменилась...

Алексей Яковлевич: «Война не прошла просто так... Не прошла».

Охота за эсминцем

Борис Фёдорович Демьянов (Свердловск)

Мы с Рыбачьего взлетели. Нам приказали найти немецкий эсминец. Его многие до нас искали, никто не может найти. В Норвегии такие фиорды, такие камни, есть где спрятаться. И вот мы вдоль берега пошли. Нету, нету, нету... И тут эсминец не выдержал сам и выстрелил. Вот он... Вот мы и рванули в облака, «фоккевульфы» сзади остались, мы не трогали. Задачу выполнили, разведали.

Но тут в грозовой фронт попали — молния сверкает. Как ударит — я думал, мотор разорвало, но нет, повезло. И я вышел на Керчес, радиокompас меня привел.

Все друзья у меня там остались. Коля Зимин, Ваня Куржаков, Серёга Белозёров... Все погибшие. Там булькнешь — и нет. Там хоронить некого. И не знаешь, где пал даже.

Дурацкий план

Пётр Владимирович Евладов (Свердловск)

21 июня мы сделали выпускной вечер. Ну, тогда вина не пили, мы всяких там фруктовок попили. А на утро — о-ля-ля! — по радио: «Война».

И ребята загремели в армию. А я моложе всех: меня раньше в школу отдавали, мне семнадцать. В конце года будет восемнадцать.

Вот такая трагедия. Ну, записался я добровольцем куда только мог. Из военкомата прогоняли: «Не мешай работать. Иди учись на курсы водителей танков». И я закончил эти курсы. И получил диплом, что я водитель танка. Но я не строевой из-за почек, плюс я не строевой по пороку сердца врожденному.

Кончался сорок первый год, кончался. И вот тут застало меня в цехе известие, что немцам дали по мозгам под Москвой. Это такой был праздник! До этого все ходили как пришибленные, молчат, ни смеха, ничего. И вдруг такая победища. Боже мой! Так все воспрянули, и разговоры, и смех пошел.

Начался десятый класс. И вдруг по школе слух: «Обком комсомола набирает комсомольцев-добровольцев в школу политруков». Я туда, на улицу Пушкинскую, там был обком. Мама меня пошла провожать на следующий день. На улице Пушкинской нас построили и повели по улице Малышева к Дому обороны.

На четвертый день вдруг кричат: «Курсант Евладов, бегом к начальнику школы!» Ну, он в том же коридоре. Я бегом, забегаю: «Курсант Евладов в ваше распоряжение прибыл!» Щелк каблуками, честь к шапке. Сидит за письменным столом мрачный такой военный, бумаги перед ним. Четыре шпалы, полковник. Посмотрел на меня: «Что же вы, курсант Евладов, решили обманывать командование?» У Евладова язык прилип. Молчу.

— Вы же не строевой. Вы думали, что нам из военкомата ваши документы не придут?

— Так меня товарищ Лыжин не спросил.

— Да вы сами-то не понимаете, что ли, куда идете? Ведь политрук должен козлом скакать перед строем, перед людьми, которые с ног валятся. Вы должны их дух поднимать, развлекать, анекдоты, чтобы смех пошел, а не усталость. Где вы силы возьмете, кто вы такой? Вам лет семнадцать. Вы из школы убежали.

Я говорю: «Так у меня отец в армии, сестра в армии... Я — ворошиловский стрелок полностью, вот значок. Я снайпером могу быть».

— Да вы от физкультуры освобождены.

Я говорю: «Ну на коньках-то я же катаюсь...»

— Ну да, с девочками вы катаетесь под музыку, это понятно.

Уже смягчился.

— Слушайте, — говорит, — Пётр Владимирович, вы мне скажите: для того, чтобы на войне один боец мог полноценно воевать и быть обеспеченным, сколько должны в тылу людей работать, не покладая рук, а?

Я не знаю.

— Так вот: от десяти до двадцати человек вкалывать должны в тылу, чтобы он был обеспечен и мог воевать и побеждать. Поэтому кончайте школу, станьте специалистом, инженером или там кем угодно. Обеспечивайте фронт. Всё. Кругом! Сдайте обмундирование, переоденьтесь.

Я кругом. Пошел к двери, а сбоку — шкаф стеклянный, и мне видно полковника. Он меня вот так перекрестил в спину. Я бы и не увидел, если б не стекло-то.

В каптерке я от шапки звездочку оторвал. Сдал форму.

Вышел на улицу: морозный такой день, снег искристый на солнышке сияет. А слёзанышки текут.

Семь картошек

Елизавета Александровна Мельникова (Свердловск)

Во время войны я жила плохо, потому что мне всегда не хватало хлеба. Карточки были: то я их потеряю, то что-нибудь, то дочка маленькая.

Мужа моего, он шофером работал, убили в сорок пятом. Мне пришло большое длинное письмо парторга с печатью: мы за него отомстим. Я пришла в военкомат, а тут мужчина какой-то сидел и писал. Я говорю: вот мне надо насчет пенсии. А он говорит: дайте мне это письмо. Я отдала и больше, ходила-ходила, — его нет. И потеряла этот документ-то. Без пенсии осталась. Похоронки даже не было. Только это

письмо. А потом один нацмен писал мне, вот так по-нацменски в женском роде: «Я вашего мужа похоронила». Я запомнила это тоже. Он танкистом был.

Родилась я в Кронштадте. Отец был моряк. Из Кронштадта перебрались в Ленинград, жили на Каменном острове. Отец руку испортил на фабрике, стал дворником. Отец-то уйдет, а я наведу подружек. Они поют, и я с ними пою. Девчонки одни сидели и пели. «Где эти лунные ночи, где это пел соловей, где эти карие очи, кто их ласкает теперь?..»

Мы для фронта делали патроны. Вот такие были коробки. Лист бумаги макала в битум, а потом завертывали в ящик, и возчик увозил от меня. У нас во дворе был паровоз, и мы вместе с военными грузили. Молодые бойцы, здоровей нас, на плечо поставят и хоть бы хны. А мне тяжело. Уж паяк-то с утра съела, его куда-то нельзя положить — везде его скушают. Я съем весь, да и хожу целый день. А потом шестнадцать часов отработаешь, оставляют на два часа партию грузить.

Лошадь всего одна была во дворе, поэтому три бабы запрягались: и продукцию — длинные железяки — на склад и со склада в цех, а там рубили на патроны, сверлили, порох насыпали. Моя дочь насыпала.

Вот я один раз нашла семь картошек, на территории кто-то выронил. Я принесла их в кочегарку — говорю: мне надо картошки испечь. Работница сидит в кочегарке и плачет: я не ела два дня, не ела, дай мне картошку. Я ей дала. Пришла в цех, там тоже женщина плачет: дай картошку — я ей дала. Дочке — две и себе две унесла, и все картошки-то у меня разошлись.

В молодости я всегда спокойная была. Муж перед уходом на войну мне сказал: «Будь такой, как прежде».

Сладкое и горькое

Зинаида Фёдоровна Зуева (рабочий поселок Билимбай)

У нас в Билимбае был завод чугунолитейный. У меня папа на нем работал. Чугун они плавили, а потом этот чугун отправляли на барках по Чусовой по реке, куда-то сплавляли, железной дороги не было. И вот барки у нас здесь строили, батями мы их называли. Приходило к нам с низовья лоцманье. Лоцманы, которые знали, как по Чусовой проходить безопаснее, провозить этот чугун.

У нас правленский сад был, а в этом саду — танцевальная площадка, мы ходили туда на танцы. «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии»... Тут лодки у нас были у берега, брали — катались, всегда так весело духовой оркестр играл.

Папа здесь жил, а мама жила по улице Ленина, вот тут недалеко. Маленькие были, папа с горки маму-то катал, лет по пять им было. Он домой пришел, да и говорит: я невесту катал, Польшу Лебедеву. Ее и стали с тех пор звать «Федюшкина невеста, Федюшкина невеста». Вот он когда подрос, стали маму-то сватать, ей семнадцать и ему семнадцатый, он не женится, она не идет. Их силой стащили, поженили, обвенчали старики и всё. Они хорошо с папкой жили, никогда не ссорились.

У нас папа никогда не ругался. Если он сердился, *повесой* называл. Лошадь там или кого: ну, повеса! Это уж он так осердился. Выше некуда. Маму тоже он никогда не ругал. Мама всегда говорила: вам бы моя судьба досталась, как бы вы, девки, так же прожили, как я.

Молодежи и сейчас много в Билимбае, но только все несоюзливые какие-то. Поглядишь на них, вроде идут муж с женой, молодые. И вот которые идут хорошо, прямо сердце радуется глядеть на них: друженько идут, разговаривают, так мило на них и посмотреть. А другие: гав-гав-гав. Да это что такое, это что за жизнь?

Сейчас свадьбы-то какие-то смешные. Зачем они пузыри-то вешают? Поедут регистрироваться, надут на машине этих разных пузырей. Вот какое украшение.

А пузырь лопнул, и они разлетелись в разные стороны. Пожили недельку и разлетелись. А раньше как. Вышел — живи. Горько, сладко — живи-терпи. Все твое. Сладкое твое и горькое твое.

А во время войны мужиков совсем почти не было, одни старики. Голодно было, так не нам одним. Все переживали. Мы хоть страха не видели. А люди, которые эвакуированные приезжали, сколько там навидались. Ребятишки-то... Вот начнут взрывать у нас чего-нибудь в карьере — они как закричат: мама, бомбят, бомбят. Они думают: бомбежка началась, боялись. А мы хоть этого здесь не видали. Было и холодно, и голодно, дров не было, да чего сделаешь, сырьем топили — шипят только, и все.

Не мы одни переживали, все переживали. У меня ребятишки-то немного подросли: Геннадию было двенадцать лет, Мише — десять, и они сразу пошли на шлаковатную работать: там парашюты клеили, в церкви у нас, где клуб теперь. Да голодные-то, да по шестнадцать часов они стоят. Да как падут на полога-то, так и спят-то. Один раз случился пожар, шелк да клей — все воспламеняющееся, у них там все и загорелось. А ребятишки спят, разбудить не могут. Вытаскивали их на пологах на улицу. Сперва рабочую силу на пологах вытащили, потом тушить начали. Вот какие рабочие были.

Бывало, бужу-бужу и зареву. «Вставайте, ребятки...» Да если бы отец дома был, может быть, ребята не мучились бы, не работали. Уговорю. Встанут да опять пойдут. Всяко было, не всегда хорошо было. Злому татарину не пожелаю такого добра, как нам досталось. Их трое да двое у меня стариков. Надо всех накормить.

(Поёт).

Если ночь была спокойна,
солнце весело взойдёт.
А если не взойдёт в тумане,
ветер дунул — дождь пойдёт.
В сад гулять не выйдет няня
и дитя не поведёт...

У колодца

Случайный попутчик (станция Агрыз)

Ну, я лично про себя скажу. У меня была куриная слепота, есть такая болезнь. Как только солнце село, уже человек не видит. Она у меня долго была. Я и в санчасть из-за этой куриной слепоты попал было, да ушел на передний край. Днем-то я могу оборону держать, так рассудил. Там врач был, старший лейтенант, помню как сейчас: «Вы куда, Ковров?» Я говорю: «На передний край, оборону держать, что я буду сидеть у вас». А там болота...

Страшенное болото, товарищи, было. Где? Под Старой Руссой, сорок третий год. Вот так идешь-идешь, а как бухнешься — всё! Все здоровье было потеряно у солдат. Днем еще можно костер разжечь и высушиться, а ночью уже не разожжешь, потому что немец бомбил, все время наблюдал с аэростатов. Потери и так большие были у нас.

И потом нас оттуда перекинули на 2-й Украинский фронт.

Под Кривым Рогом тоже сильные бои были. Там я чуть не пропал.

А случилось так — послали меня в штаб полка. Иду по ложине и вижу: «мессер» летит. Прямо на меня. Думаю, чего он, неужели гоняться будет? Я — куда? Некуда. Лощина, и всё. Смотрю: на меня пикирует. Куда мне? Вижу — колодец. Понимаете, рельса такая и колодец. Я — в этот колодец. Вот так руками-то поймался, а он как налетел: тык-тык-тык-тык. Пуль несколько в рельсу попали, они рикошетом ушли в сторону. Я только боялся, чтоб пальцы не стукнуло, а то упадешь, и всё — без вести пропал. И в жизни никто бы не нашел меня там. Может быть, когда-нибудь... Ну ладно, он ушел из пике, я вылез и, вроде, побежал. Он второй заход делает, опять на меня.

Ну куда деваться? Я вертаюсь, раз в колодец! Вот так было, товарищи. В колодец. Ну, тогда уже сел у колодца и жду, пока он уйдет, пока горячего не будет у него. И азарт кончится. (*Смеется*): «Скажите, войну у колодца просидел...»

Воевал я, как все. Уж потом, после войны узнал: мать моя, оказывается, несколько писем получила благодарных от командования: благодарим тебя, Евдокия Петровна, за хорошее воспитание, пятое-десятое. Таких писем много приходило солдатским матерям, даже посылки приходили. В сорок четвертом мама моя посылку получила из армии: пять килограммов сахара. Кто жил в войну на Урале, знают: пить чай с сахаром — редкость небывалая. Так мать соседей всех на этот чай звала.

Вот война заканчивается, нас на Забайкальский теперь фронт перебрасывают. Даю телеграмму домой с Москвы, мол, проезжаю мимо на восток. Точнее как укажешь? И вот моя мама приезжает из деревни на станцию, сидит трое суток на чемодане, чтобы меня не пропустить. А солдаты — все солдаты. Все одинаковые, друг на друга походят. Ждала трое суток, а встреча у нас пяти минут, наверное, не заняла. Я ее увидел. Ну, мать есть мать. Упала в обморок, я ее поймал, успел подскочить. Тут люди собрались. Все рады за меня, что мать встретил.

Пять минут — и команда: по эшелонам. Дисциплина есть дисциплина. Попрощались, и я уехал опять воевать. С войны — на войну. А мать... Какое сердце у матери, а?

Обрубочек

Вера Васильевна Попова, Свердловск

Невьянский переулочек знаете? Там был детский садик во время войны. Дети железнодорожников. С трех лет и до семи. Война для ребятшек сначала была как что-то новое и интересное.

В войну играли, а потом надоело — не стали играть. Особенно после стихотворения «Пугало огородное», где все отказались изображать Гитлера. И даже, когда они... Кот там вышел и сказал: никогда я больше не вернусь сюда. Собака обиделась. В общем, все ушли, и они решили, что будет пугало огородное — ему все равно. Всё ближе, говорит, цель, «всё уже круг, но пугало сбежало вдруг. И закричало на бегу: бандитом стать я не могу...». Ну, вот они и перестали у меня играть в войну.

Помню, один паренек наш, катается там, разобьет нос, упадет. Я холодный снежок положу, говорю: лежи будто раненый, пройдет — на фронте хуже. И это магические слова были: фронт, таран. Жили впроголодь, но дружно. Да и потом они друг другу: давай, не плачь, я тебе снежок положу. Так управлялись.

И еще в госпиталь ходили. Раненые оживлялись, угощали детей сахаром. Но когда мы выходили из госпиталя, то дети засыпали меня вопросами: «Немцы стреляли в наших бойцов все в руки и ноги, чтоб они не могли наступать и стрелять?» Их удивило, что у всех нет то руки, то ноги. Особенно их поразил безрукий слепой — дядя Миша: «А как ест дядя Миша?», «А где у него дом?», «А как он поедет домой?»

Ночью политрук меня вызвала: приходите, Лепухову сделали операцию, он злобствует неимоверно, срывает зубами повязки. Молодой, красивый... у него вот этой нет кисти, а здесь тоже нет. Ему сделали операцию. Щупальца такие, знаете, чтобы папиросу можно было держать. И он кричал: зачем мне жить? А в операционной его одного оставили — он уже скинул ноги, и к шкафу. И зубами открывает шкаф. Прибежала няня: Лепухов буйствует!

А он хотел найти какую-нибудь дрянь выпить и отравиться.

Я смотрю, а в одной палате с этим Лепуховым лежит обрубочек на другой-то кровати. Ну, я-то, раз этот злобствует, — подошла к обрубочку. Он, значит, то—другое. Приласкала. Говорю: лежите спокойно, теперь будете осваивать протезы. Дала ему

какую-то книжку. Теперь к Лепухову подседа. Молчит. Тогда я стала разговаривать с ним. Говорю: так молчать и будем, я же усну около вас. Он: да, все сейчас с нами нянчитесь, а потом кому мы нужны будем?

— Как кому? Людям. Жизнь есть жизнь. У вас глаза с собой, ноги здоровые, а руки — протезами научитесь.

Ладно. В общем, он сердился, а потом и говорит: вот выйду я из госпиталя, вы со мной куда-нибудь пойдете? Вас это устроит? Я отвечаю: глядя по тому, куда. Он: ну, в театр, предположим. Я говорю: с удовольствием, и в первую очередь — в музкомедию, это мой любимый театр. Так что вы думаете? Он меня три раза в музкомедию водил.

«Веселую вдову» смотрели. А первый у нас выход был в филармонию, день, кажется, Красной Армии был. Я сначала думаю: ну, Вера Васильевна, держись, будто ты сто тысяч выиграла. Иначе он почувствует фальшь. Все мужчины за женщинами ухаживают, а я — за ним. Пояс расстегну — он не может — протезов у него еще не было. Всё надо было: и причесать, и заправить бары куда положено. Он мне шепчет: Вера Васильевна, бары уберите. У гимнастеров назад надо убрать борики-то. Все ведь это надо знать, как что к чему. Вот и хорошо мы, чудесно сходили.

Чёрная тарелка

Неля Владимировна Ефимова (Свердловск)

«Слушайте — Молотов говорит, Молотов говорит...» Значит, мы: «Господи, Молотов говорит!» Подбежали, там динамик, стоим и слушаем: сегодня в пять часов утра, мы так, ну, не осознали. Вы знаете, даже подружка моя говорит: «Ну, вот теперь за границу будем ездить запросто». Я говорю: «О чем ты говоришь! Война!» «Ну и что, повоюем, и все».

Мы с подружкой собирались на концерт Ойстраха. На трамвай залезли, значит, сели и едем. Я ей говорю: «Ну не знаю, так хочется, так хочется попасть, посмотреть поближе». Она и говорит: «Да что твой Ойстрах. Сама-то почему не играешь на скрипке?»

Я ей говорю: «Я играю на скрипке, но не так, как Ойстрах».

Потом я узнала, что Левитан в Свердловске. Интеллигентный человек, он такой красивый. Я подбежала и говорю: «А я вас узнала по голосу». Он говорит: «О-о-о!» Так это удивился. И спросил, что я, кем работаю. Я собираюсь в Москву вот поехать, учиться... И... ну, необыкновенный человек.

Ну я уж не говорю, что этот голос всех нас завораживал, и мы бегали слушать, потому что он говорил голосом Сталина. Будто это сам Сталин был для нас.

В тылу

Галина Ивановна Попова (Свердловск)

Что представлял из себя тогда Свердловск?..

Очень было строгое затемнение, все окна были завешаны, освещения никакого. Мы когда возвращались из школы, уроки готовили при коптилках.

Мамин отец, дедушка мой, он жил в Камышине, это Волга. И когда начались вот эти сталинградские уже наступления, он оттуда кое-как выбрался. На каком-то пароме, на каком-то, я уж не знаю, транспорте он добрался до нас, это был сорок второй год. Он приехал очень плохо одетый, конечно, не предполагал таких морозов, которые у нас. У нас, видимо, тоже, я не знаю, не было возможности как-то его особенно утеплить.

Помню, он тоже стоял за хлебом где-то в очереди, простудился, и он прожил у нас очень мало, по-моему, недели две-три, и он скончался у нас от воспаления легких.

А учительница по географии — она засыпала буквально на уроке. Видимо, такая дистрофия была. Мы, конечно, уже тут баловались. И у нас тут стоял какой-то скелет, мы его наряжали. Вот, она просто засыпала на уроке.

Грусть

Галина Петровна Кузнецова (Свердловск)

Дров-то не было, приходилось нам дрова валить прямо с корню.

Мама вот с нами соберется и ночью, причем ночью — это чтобы никто не видел. Мы шли в лес, рубили это дерево, на себе все таскали, распиливали его.

Основное лекарство было рыбий жир. На карточки и муку давали. Муку мы получим, и на рыбьем жиру мы эти пончики жарили. Вкусно, в то время было очень вкусно. И мы вот за счет рыбьего жира все и выжили.

Жениха-то, мальчика моего, убили. Как раз его в начале сорок пятого года. Ушел — и всё, и не вернулся. Так что всё, всё проходящее такое. И пели, и любили. Грусть все время. Но надо что-то и другое иметь.

Мы театр не забывали. Оперный театр для нас был самый Первый театр. Почти все оперы и балеты смотрели.

Маруся

Любовь Григорьевна Попова (Свердловск)

Пленные немцы... Они же везде были запущены в работу. Что делал тот пленный немец, который прижился к нашему двору, я не знаю, но он очень любил одинокую нашу соседку Марусю. И когда у него был перерыв, он приходил, он сидел, и у него иногда слезы текли из глаз.

Война есть война. А когда она закончилась, ой, это что-то невероятное было. Все плакали и радовались одновременно. И дети плакали почему-то.

Наш двор

Лариса Алексеевна Сосновская (Свердловск)

Значит, руки мыть. Мыла не было, а были такие маленькие бумажечки. Они как бы намыленные чем-то. Придешь с улицы, мама эту бумажку даст, только вот так подставишь под воду, и уже она не мылится.

Здесь у нас стояли скамеечки, и вот мы соберемся, выходили с песенниками, особенно летом. Значит, выйдем с этими песенниками, усядемся все тут и начинаем петь. И нам очень нравилось, когда соседи выглядывали из окон, слушали нас.

Брызги шампанского

Наталия Константиновна Дзюба (Свердловск)

Мой отец, Константин Васильевич, он великолепно свистел (*напевает «Брызги шампанского»*) танго там, все мелодии, которые на слуху были, он свистел.

Папу на фронт взяли, вы знаете как, не в сорок первом, его же подозревали в чём-то. Солдат на передовой, окончивший пединститут. Ну тогда так делалось, еще честь оказана была, что взяли. Связистом он был на фронте, связистом. То есть, он шел в первых рядах, связь же налаживается в начале, а потом... Хлебнул всего.

Печь

Валентин Гаврилович Терехин (Первоуральск)

Фронтная бригада у меня была из девчат да мальцов пятнадцать-шестнадцать лет. По двенадцать через двенадцать работали. Тяжеленько, устают. Любую возможность, особенно ночью, используют, чтобы прикорнуть в тепле где-нибудь.

Прихожу в столовую как-то следом за бригадой, а они уже уйти успели, долго ли баланду съесть. Суп такой был: лапшинка за лапшинкой.

Вернулся — нету их, весь участок обегал, все закоулки. Куда могли деться? У меня их семнадцать человек.

А перед этим я дал задание слесарю-газовщику поставить печь для термообработки баллонов на газ. Слесарь этот подошел, спрашивает: «Ну что, Валентин, зажигать?» Я говорю: «Давай, сейчас же ставь, время теряем». Он и пошел к печи, факел приготовил.

Меня как стукнуло. «Стой, — я ему кричу, — стой!» Забегаю вперед, заглянул в печь — она с огромным подом, метров двадцать длиной. Они все там вповалку спят, в печи-то... А ну-ко он бы зажег горелки. Я... меня аж... с полчаса я не мог даже работать, стою — и меня вот так трясет. Не помня себя, заскочил в эту печь, их всех расшвырял, раскидал. Они бегом вылезают... (*смеется сквозь слезы*)... в саже все.

Им холодно стало ночью, они и забрались в печку, там хорошо, температура градусов двадцать пять, наверное. Все враз и уснули, в четыре утра это было как раз. В феврале сорок второго.

Испытатель танков

Иван Васильевич Головин (Свердловск)

Зайдешь, бывало, в цех. Холодно, вентиляции нет, а прокрутка моторам все равно нужна. Дым столбом стоит, рядом человека не видишь. Работали женщины — на комплектровке. А у нас, испытателей, в помощниках подростки были, лет по пятнадцать—шестнадцать, эвакуированные из Курской, Орловской областей. Кого я помню? Мишку Котова, Сергея Сухорукова... Однажды мне одного вологодского мальчонку, слабенького такого, дали в помощники. Все от него отказывались, а я взял, научил. Эх, давай его потом все к себе тянуть, а он: никуда от дяди Вани не пойду. А «дяде Ване» самому лет двадцать пять было. Молодые были, но ответственность каждый испытывал — государственную! Зачитывают телеграмму Сталина: «Товарищи уральцы, дайте новые боевые машины, самоходные установки СУ-122 в такие-то сроки». Все рабочие поднялись: «Пока не сдадим машины, из цеха не уйдем». Так и было. Жили, считай, прямо в цехе. Было там помещение одно, постлали сено, брезент растянули, поспишь сколько-нибудь и снова к машинам. Выполнили задание раньше срока... Так женщины наши подходили целовать эти самоходки, когда отправляли на фронт.

Уральский рабочий

Мариэтта Сергеевна Шагинян (Москва)

Я знаю Урал только в военные годы. Первые два года и половину третьего. Я попала на Урал с группой писателей, которые были агитаторами Совинформбюро. И до того как нам эвакуироваться в сентябре 1941 года, мы провели очень большую работу в Москве.

Мы ехали в вагоне около восемнадцати дней, тащились из Москвы на Урал.

Когда я приехала, Урал сделался мне, по сути дела, родным. Потому что, во-первых, я продолжала работу агитатора. Я объездила весь Урал. Я выступала на полевых станах, рудниках, почти на всех крупных предприятиях Свердловска.

Работа на Урале дала мне чрезвычайно много. Я познакомилась с совершенно особым, интереснейшим типом рабочего-уральца.

Почувствовала вот эту гибкость крестьянского труда, приспособленного к объективным условиям существования на земле. И твердую сталь — дисциплину настоящего заводского пролетария.

Причем это так обаятельно соединилось в уральских рабочих!

Ну, например, в Нижнем Тагиле Митя Пестов. Митя был экскаваторщиком. Причем, он так работал на экскаваторе... Как музыкант! Спрашивают его: «Митя, а ты спичку можешь экскаватором поднять с земли?»

Это было на моих глазах. Машина затанцевала, задвигалась, как гиппопотам или какое-то другое животное, которое, по сути дела, в своей мускульной энергии изящно. И тот ковш... Ах, да! Причем условились, что Митя поднимет спичку левым концом ковша.

И вот я видела, как он заставил грациозно опуститься этот ковш и левым зубом поднять спичку. Поднес и сказал: «Можете закурить!»

В Свердловске я жила в гостинице «Большой Урал». Причем в этой гостинице моя дочка родила. Внучка там моя появилась на свет. И мы жили — сестра, дочка, внучка и я. В эту комнату нашу проникали вот такие большие крысы, и мы не знали от них спасения. Кошка удирала от них. И вот ночью как-то внучку мою... Мы проснулись и увидели у нее два кровавых пятнышка: крыса укусила. Ей пришлось, маленькой, делать уколы, прививки такие от бешенства.

Но мы были счастливы. Несмотря на то, что жили в ужасных условиях.

Девятое мая

Любовь Григорьевна Адамова (Свердловск)

Я киевлянка, родилась в Киеве и уезжала из Киева уже под бомбежкой. С эшелонам, который моя мама сопровождала, потому что это было оборудование Дарницкого комбината шелкового, и мы оттуда ехали сюда, в Арамилы. Но до этого мы оказались в Сочи накануне войны. Я закончила школу, и мы с мамой отправились в Сочи. Как раз двадцатого июня отправились туда, двадцать второго вышли на Ривьеру, и стоят толпы под репродукторами, и плачут женщины. Так я узнала, что Киев бомбили и что «началась война».

Потом я, уже во время войны, была редактором университетской газеты «Сталинец», так я дежурила ночами в «Уральском рабочем», мы печатали там свою газету. Надо было ждать, выждать время, когда они могут начать печатать нашу многотиражку, и это было обязательно ночью, крысы бегали.

В сорок первом же году сразу уехали на картошку, нас отправили в колхоз, в Красноуфимский район. Ну, так песни пели на вокзале. Сидели все на чемоданах, пели песни, ехали все, как на праздник. Но когда приехали и стали убирать картошку, то наш руководитель, у нас такой был преподаватель истории Юдикис, он решил, что пролетел самолет и что оттуда спущены были диверсанты. И всех мальчиков, всех наших мужчин, собрал в команду и пошли искать диверсантов.

Вот так все перемежалось. Понимаете? То есть мы жили мирной жизнью, но война была очень близко.

На площади 9 мая. Мы сидели под репродукторами, ждали объявления о победе. А потом мы возвращались уже после университетского праздника, возвращались под утро. Пустая площадь, из репродуктора песня: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». Это было на утро после 9 мая.